Тот, кто остался



Амбре Науар

18+

Амбре Науар

Тот, кто остался

«Автор»
2026

Науар А.

Тот, кто остался / А. Науар — «Автор», 2026

Двадцать лет назад семнадцатилетний Костя вышел из дома в туман и не вернулся. Полиция закрыла дело. Море не вернуло тело. Сестра уехала в Москву и поклялась никогда не оглядываться.Но когда Марина находит его дневник, она понимает: Костя знал, что уйдёт. Знал за двенадцать дней и оставил ей карту не выдуманного острова, а реального места в лесу за маяком, где время сворачивается в кольцо.Североморск хранит тайну старше самого города. Озеро, которого нет ни на одной карте. Маяк, горящий изнутри, хотя давно заброшен. И голос брата, зовущий из воды.У Марины три дня до закрытия окна, которое открывается раз в двадцать лет. Цена ошибки не только жизнь Кости, но и весь город, застывший в вечном тумане. Время — это не река. Время — это озеро. И кто-то должен нырнуть на дно.

© Науар А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Пепел и соль 5
Глава 2 Озеро 10
Глава 3 Петрович 16
Глава 4 Ленка 22
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Амбре Науар
Тот, кто остался

Глава 1 Пепел и соль

Глава 1. Сорок минут

Поезд опоздал на сорок минут и за эти сорок минут Марина успела трижды передумать.

В первый раз, когда электричка от Мурманска встала посреди голого поля и за окном не оказалось ничего, кроме мокрой травы и неба, нависшего так низко, что, казалось, его можно задеть рукой, если высунуться из форточки. Во второй, когда напротив неё сел мужчина с запахом перегара и начал рассказывать про свою бывшую жену, не спросив, интересно ли ей это. В третий, когда в динамике прохрипели название станции и Марина поняла, что времени передумывать больше нет.

Североморск. Она не была здесь двадцать лет.

Перрон оказался короче, чем она помнила. Или это она стала выше? Нет, конечно, она не росла с тридцати пяти. Просто всё в детстве кажется огромным и вокзал, и площадь, и та скамейка у касс, на которой они с Костей ждали маму, пока та покупала билеты до Москвы, а потом ты возвращаешься взрослым человеком и обнаруживаешь, что весь твой мир был размером с песочницу.

Вокзал не изменился. Те же жёлтые стены, облупившиеся до кирпичной кладки у основания. Та же вывеска с отвалившейся буквой «С», так что получалось «евероморск», и это казалось Марине удивительно точным названием для места, из которого все давно уехали. На перроне стояли три человека: женщина с тележкой, полной сумок, подросток в наушниках и старик, который курил, глядя в сторону моря. Моря отсюда не было видно, его закрывали дома, гаражи, крыша магазина, но старик смотрел именно туда, за крыши, за линию горизонта, и в его взгляде было столько уверенности, что Марина на секунду тоже повернула голову: а вдруг море действительно там, за углом, и она просто забыла? Она не забыла.

Воздух пах солью и ржавчиной. Тот самый запах, от которого в детстве першило в горле и слезились глаза. Марина вдохнула полной грудью и тут же закашлялась. Организм помнил, тело помнило то, что голова старательно стирала все эти годы, и этот кашель был как привет из прошлого, грубый и нежный одновременно.

— Марина? Маринка? Господи, девочка!

Женщина с тележкой оказалась тётей Верой. Марина не узнала бы её, если бы не голос, тот же хриплый, с ноткой вечного удивления, будто каждый вопрос для неё маленькое открытие. Тётя Вера постарела. Сильно. Лицо осунулось, глаза ввалились в тёмные орбиты, а волосы, которые Марина помнила чёрными и густыми, как смоль, теперь были жидкими и белыми, собранными в пучок на затылке шпилькой, которая держалась на честном слове. Но улыбка осталась прежней- широкой, нелепой, с золотым зубом в углу рта, и от этой улыбки у Марины вдруг защипало в носу.

— Тёть Вер...

— Молчи, молчи, дай посмотреть на тебя! — Тётя Вера схватила её за плечи и притянула к себе. От неё пахло стиральным порошком «Миф» и чем-то сладки, вареньем, наверное, или тем самым яблочным пирогом, который она пекла по воскресеньям, когда Марина и Костя были маленькими и прибегали к ней на Набережную, перелезая через забор, чтобы не обходить калитку.

— Я думала, ты не приедешь. Думала, передумаешь. Звоню, а ты не берёшь трубку. Пишу в этот ваш вацап, а ты прочитала и молчишь. Я уж Ленке говорю: «Ленка, наша Маринка не приедет, не жди». А Ленка говорит...

— Ленка здесь? — перебила Марина и сама удивилась, как быстро забилось сердце.

— А то! Здесь, куда она денется. Замужем, муж Сергей, хороший мужик, только пьёт по праздникам, а праздники у него, знаешь ли, каждый день. Двое детей, нет, трое, нет, двое, я вечно путаю, у неё ещё собака, мелкая такая, бешеная, зовут Боня или Бонифаций, я не помню. Ты не бойся, я тебя не к ней везу, я тебя домой везу, в ваш дом, на Набережную, я там прибралась, окна помыла, печку вчера растопила, тепло будет, не жарко, но тепло.

Она тараторила, не давая Марине вставить ни слова, и Марина не перебивала, потому что в этом потоке слов было что-то спасительное, как шум прибоя, который заглушает мысли. Тётя Вера подхватила чемодан так легко, будто он был набит пухом, а не книгами и зимними вещами, и потащила его к выходу, не дожидаясь ответа. Марина пошла следом.

По перрону, по привокзальной площади, мимо ларька, который раньше продавал мороженое, а теперь, почему-то автомобильные запчасти. Мимо остановки, на которой они с Костей каждое утро ждали автобус в школу и Костя рисовал в запотевшем стекле свои дурацкие карты - выдуманные острова, несуществующие материки, а Марина стирала их рукавом и говорила: «Хватит, Кость, автобус едет, ты опять опоздаешь».

Костя.

Она подумала о брате и тут же одёрнула себя. Не сейчас. Не здесь. Не на этой улице, где каждый фонарный столб помнит их двоих худых, одинаковых, с одинаковыми веснушками на носу и одинаковой привычкой закусывать губу, когда страшно.

— Машина у меня теперь, — сообщила тётя Вера, кивая на ржавый «Логан», припаркованный у обочины так, что левое колесо стояло на бордюре. — Сын подарил, говорит: «Мам, тебе пешком вредно». А я говорю: «Мне пешком полезно, я так тридцать лет ходила и ничего». Но он упрямый, весь в отца. Садись, садись, не бойся, я аккуратно вожу.

Она вела неаккуратно. Машина дёргалась, глохла на перекрёстках и Марина вцепилась в ручку двери, глядя на знакомые улицы, которые одновременно были её и чужими.

Вот дом, в котором жила Ленка Сорокина, её лучшая подруга до седьмого класса. Окна на втором этаже занавешены чем-то цветастым, и на балконе сушится бельё, и это так обыденно, так нормально, что у Марины перехватило дыхание: Ленка живёт здесь, в этом доме, в этом городе и сушит бельё на балконе, и, наверное, варит борщ, и ругается с мужем, и не думает о том, что двадцать лет назад в этом же дворе они с Мариной закапывали капсулу времени — жестяную банку из-под печенья, в которую положили записки, фантики и Костин рисунок острова, который он назвал «Мариания» в честь сестры.

Вот забор, за которым они курили первую сигарету и давились дымом, клянясь друг другу, что это в последний раз. Вот магазин «Берёзка», переименованный в «Магнит», а потом обратно в «Берёзку», потому что «Магнит» закрылся через полгода. Вот скамейка у моря, на которой Костя в шестнадцать лет поцеловал Аню Кравцову, а Марина сидела в пяти метрах и делала вид, что читает книгу, хотя книга была перевёрнута вверх ногами.

Аня. Тихая, бледная, с огромными тёмными глазами и с привычкой рисовать на полях тетрадей странные спирали, которые Марина тогда принимала за каракули, а теперь, вспоминая, думала: а вдруг не каракули? Вдруг те спирали означали что-то, чего она не понимала и до сих пор не понимает?

— Дом на Набережной, — сказала тётя Вера, сворачивая на узкую улицу, зажатую между соснами и обрывом. — Тот самый. Двенадцатый номер. Ключи у меня были, я же говорила. Замок поменяла, старый совсем заржавел, еле открыла. Вот, держи.

Она протянула Марине ключ новый, блестящий, нелепо яркий на фоне всего этого серого пейзажа. Марина взяла его и почувствовала, как пальцы сами сжались в кулак, пряча металл

в ладони. Ключ был тёплым от руки тёти Веры и в этом тепле было что-то невыносимое, как будто вместе с ключом ей передали все двадцать лет, которые этот дом стоял пустым, и все двадцать лет, которые она не приезжала, и все двадцать лет, которые мама звонила ей каждый вечер и спрашивала одно и то же: «Марин, а ты не видела Костю во сне?»

Дом стоял.

Двухэтажный, деревянный, с покосившимся крыльцом и окнами, забитыми фанерой на втором этаже. Краска на стенах облупилась и висела длинными полосами, как кожа после ожога. Крыльцо просело на один угол, и перила были обмотаны синей изолентой, которая потрескалась от мороза и солнца. Но дом стоял. Не рухнул, не сгорел, не был снесён. Ждал. Как собака, которую хозяин оставил на привязи и забыл, а она всё равно ждёт, потому что не умеет иначе.

Тётя Вера сказала, что прибралась, но «прибраться» в её понимании, видимо, означало подмести пол и открыть форточки. Внутри пахло сыростью, пылью и чем-то ещё, чем-то сладковатым, гнилым, как забытые в вазе цветы. В гостиной стояла мебель, накрытая простынями и эти белые холмы в полумраке напоминали спящих животных, которые вот-вот проснутся и посмотрят на Марину укоризненными глазами.

— Свет есть, — тётя Вера щёлкнула выключателем и под потолком загорелась тусклая лампочка, от которой тени стали ещё гуще. — Воду включат завтра, я звонила в ЖКХ, они обещали. Газ в баллонах, два баллона в сарае, хватит на месяц. Если, конечно, ты на месяц.

— Не знаю, — сказала Марина. — Может, на неделю. Может, на две. Мне нужно оформить документы и продать дом.

Слово «продать» повисло в воздухе, как дым, и тётя Вера на секунду замолчала, впервые за всё время, и в этой паузе Марина услышала то, что тётя Вера не сказала: не продавай, не уезжай, не оставляй меня одну в этом городе, где все умерли или уехали, и остался только этот дом, и этот маяк, и это море, которое не вернуло мне моего Костеньку.

Но тётя Вера уже суетилась на кухне, ставила чайник на газовую плитку, доставала из сумки банку варенья и пачку печенья «Юбилейное» и Марина поняла, что сейчас не время для разговоров о продаже. Сейчас время для чая. Для варенья из крыжовника, которое тётя Вера варит по тому же рецепту, что и мама. Для молчания, в котором не нужно ничего объяснять.

Она села за стол, накрытый клеёнкой с ромашками, и позволила себе расслабиться. На пять минут. На десять. На столько, сколько потребуется, чтобы чай остыл, и тётя Вера уехала, оставив её одну в этом доме, полном призраков.

— Ну, я пойду, — сказала тётя Вера, допив чай и вытерев губы тыльной стороной ладони. — Ты не бойся, тут тихо, соседи далеко, только чайки по утрам кричат, но ты привыкнешь. Если что — звони, я рядом, на Советской, дом семь, квартира двенадцать. И ещё... — она замялась у двери, поправила пучок на затылке, и Марина заметила, как дрогнули её пальцы, — ...он там ничего не трогал, Маринка. Я следила. Никто не заходил. Всё как было.

— Кто — он? — спросила Марина, хотя знала, что не нужно спрашивать.

Тётя Вера не ответила. Махнула рукой, улыбнулась своей нелепой улыбкой с золотым зубом и ушла, шаркая резиновыми сапогами по крыльцу. Дверь закрылась и Марина осталась одна.

Тишина обрушилась на дом, как вода на тонущий корабль.

Марина встала, подошла к окну и посмотрела на улицу. Темнело. Фонари на Набережной не горели, то ли сломались, то ли их отключили за неуплату, то ли в Североморске просто не принято освещать улицы, потому что и так всё видно: море, небо, пустоту. Где-то вдалеке гудел пароход, тот самый звук, от которого в детстве сжималось сердце, потому что пароход означал, что кто-то уезжает, а в Североморске уезжали все и каждый гудок был прощанием.

Она обошла первый этаж. Кухня та же, только мельче. Гостиная - диван, кресло, телевизор с кинескопом, который давно не включали. Комната родителей - дверь закрыта, Марина не стала открывать, не сейчас, не в первый вечер, не в первый час. Коридор - вешалка, на которой до сих пор висит Костина куртка, синяя, с капюшоном, с нашивкой в виде компаса на рукаве.

Марина остановилась перед курткой. Протянула руку, коснулась ткани пальцами, ткань была сухой, пыльной, но целой - ни дыр, ни пятен, ни следов времени, как будто Костя снял её вчера и повесил, собираясь выйти на пять минут за хлебом. Она отдёрнула руку и пошла к лестнице.

Ступени скрипели под ногами и каждый скрип звучал как упрёк: куда ты делась, куда ты делась, почему не приехала раньше, почему оставила нас, почему оставила его. Дверь в их комнату, её и Кости, была закрыта. Марина взялась за ручку холодную, металлическую, с облупившейся краской и повернула. Комната была пуста.

Нет, не пуста. Пуста - это когда ничего нет, а здесь было всё, но всё было мёртвым. Кровати без матрасов, голые доски пола, обои, отслоившиеся от стен длинными полосами, как кожа после ожога. Окно забито фанерой и сквозь щели пробивался тонкий луч уличного света, в котором кружилась пыль медленно, лениво, как будто у неё тоже не было причин торопиться.

Марина шагнула внутрь. Пол прогнулся под её весом и она замерла, боясь, что доски проломятся и она провалится вниз, в гостиную, в прошлое, в тот день, когда Костя сказал ей: «Я сегодня не пойду в школу. У меня есть дело».

Какое дело? Она не спросила. Ей было семнадцать, у неё были свои проблемы - экзамены, первый парень, прыщ на подбородке, который казался концом света. Она махнула рукой и ушла, хлопнув дверью. Это была последняя дверь, которую она за ним закрыла.

На подоконнике, в дальнем углу, под слоем пыли, лежала тетрадь.

Марина увидела её не сразу. Тетрадь сливалась с подоконником, такая же серая, потрёпанная, забытая. Но потом луч света упал на обложку, и Марина различила буквы, написанные Костиным почерком - крупным, размашистым, с нажимом, от которого ручка рвала бумагу. Она узнала этот почерк мгновенно, как узнают лицо родного человека в толпе, даже через двадцать лет, даже сквозь пыль и время, даже сквозь все те годы, которые она потратила на то, чтобы забыть.

«Дневник обратного отсчёта»

Она взяла тетрадь. Пыль поднялась облаком и Марина чихнула, и от этого чиха что-то внутри неё треснуло, как лёд на реке весной, тихо, но необратимо, и она поняла, что плачет. Стоит в пустой комнате, держит в руках тетрадь мёртвого брата и плачет так, будто он умер вчера, а не двадцать лет назад. Будто все эти двадцать лет она не плакала, а копила, и теперь плотина прорвалась, и слёзы хлынули-горячие, солёные, бесконечные, как море за окном.

Она села на пол, подтянула колени к груди и прижала тетрадь к себе, как прижимала в детстве плюшевого медведя, когда ей снились кошмары и Костя приходил из своей половины комнаты, садился рядом и говорил: «Не бойся, Мари. Это просто сон. Я здесь. Я никуда не денусь».

Он делся.

Он вышел из дома в туманное октябрьское утро и не вернулся. Ни через день, ни через неделю, ни через год. Полиция искала три месяца, потом дело заморозили, потом разморозили, потом снова заморозили. Тело так и не нашли. Море не вернуло его, хотя море в Североморске возвращало всё - брёвна, мусор, мёртвых чаек, однажды даже якорь с корабля, который затонул в прошлом веке.

Костю нет.

Марина сидела на полу, пока слёзы не высохли и пока в комнате не стало совсем темно. Потом она встала, вытерла лицо рукавом, положила тетрадь на подоконник туда, где нашла, и спустилась вниз, в гостиную, на диван, под два одеяла, которые пахли нафталином и детством.

Она не открыла тетрадь. Не сегодня. Сегодня достаточно того, что она здесь, что она вернулась. Что дом стоит и куртка висит на вешалке, и на подоконнике на втором этаже лежит дневник, который Костя оставил для неё, зная, что однажды она вернётся.

За окном завыл ветер. Море ударило в берег с глухим грохотом, как кулак в дверь. Где-то вдалеке, на мысу, стоял старый маяк белый, заброшенный, не работающий уже тридцать лет, и Марина подумала, что завтра она пойдёт к нему. Завтра, но не сегодня. Сегодня ей нужно просто лежать и слушать, как дом скрипит, как ветер воет, как море бьётся о берег и как где-то в глубине этого дома, на втором этаже, в тёмной комнате, на пыльном подоконнике, лежит тетрадь с надписью «Дневник обратного отсчёта» и ждёт, когда её откроют.

Обратный отсчёт чего?

Марина закрыла глаза и провалилась в сон без сновидений - тяжёлый, чёрный, бездонный, как вода в море, которое не возвращает своих.

Глава 2 Озеро

Утром Марина проснулась от холода.

Не от того лёгкого утреннего озноба к которому привыкла в московской квартире с центральным отоплением и пластиковыми окнами, а от настоящего, северного, пробирающего до костей холода, который заползал под одеяло, обвивался вокруг щиколоток и забирался под рёбра, как ледяная змея. Печка, которую растопила тётя Вера, давно погасла и дом остыл за ночь до такой степени, что изо рта шёл пар, а пальцы не слушались, когда она попыталась стянуть с себя одеяло.

Она лежала на диване в гостиной, завернувшись в два шерстяных одеяла, которые нашла в шкафу в коридоре, и первые несколько секунд не могла понять, где находится. Потолок был чужой, высокий, с трещиной в углу, похожей на молнию. Стены с обоями в мелкий цветочек, которые она помнила, но которые за двадцать лет выцвели до неузнаваемости, превратившись из розовых в грязно-бежевые. Окно с занавеской, которую ветер надувал, как парус и сквозь щели в раме тянуло ледяным сквозняком.

Потом вспомнила. Потом захотела забыть.

Вчерашний день вернулся к ней не целиком, а обрывками: перрон, тётя Вера, ржавый «Логан», запах соли и ржавчины, ключ в ладони, куртка на вешалке, скрипучая лестница, пустая комната, тетрадь на подоконнике. И слёзы, столько слёз, что, казалось, она выплакала все двадцать лет за один вечер.

Марина села на диване, натянула на плечи одно одеяло и посмотрела на стол. Вчера, перед тем как лечь, она поставила на него чашку с чаем. Чай, конечно, остыл и покрылся плёнкой. Рядом стояла банка варенья из крыжовника, пачка печенья «Юбилейное» и ключ от дома, который она так и не выпустила из рук, даже во сне и теперь на ладони остался красный отпечаток от зубчиков.

Она встала, накинула куртку прямо на пижаму, пошла на кухню и зажгла газ. Конфорка вспыхнула с шипением и синее пламя затанцевало под дном чайника. Марина стояла перед плитой, глядя на огонь и думала о том, что в этом доме всё ещё есть газ, и вода, и электричество, хотя в нём двадцать лет никто не жил. Кто-то платил за коммунальные услуги. Кто-то приходил, проверял счётчики, менял лампочки. Тётя Вера, наверное. Тётя Вера, которая говорила: «Он там ничего не трогал, я следила». Он. Как будто Костя не пропал, а просто вышел в магазин и вот-вот вернётся.

Чайник засвистел. Марина заварила чай крепкий, чёрный, без сахара, как пил папа и вернулась в гостиную. Села за стол, накрытый клеёнкой с ромашками и посмотрела на лестницу, ведущую на второй этаж. Тетрадь была там. На подоконнике. В тёмной комнате с облупившимися обоями.

Она не хотела подниматься. Не хотела снова видеть эту комнату: две кровати у противоположных стен, стол посередине, окно с видом на море, которое теперь забито фанерой. Не хотела вспоминать, как Костя рисовал за этим столом свои странные карты, высунув кончик языка от усердия, а она лежала на кровати и читала, и между ними было три метра пола и целая вселенная, которую они делили пополам, как делят всё близнецы поровну, без остатка, без тайн.

Или без тайн - это она тогда так думала. А теперь, глядя на лестницу, Марина понимала, что тайны были. Огромные, тёмные, тяжёлые тайны, которые Костя носил в себе, как камни в карманах, и которые, в конце концов, утянули его на дно. Она допила чай, встала и поднялась на второй этаж.

Ступени скрипели, те же скрипы, те же ноты, как двадцать лет назад, как будто дерево помнило вес её шагов и не хотело отпускать. Дверь в комнату была приоткрыта, она вчера не

закрыла её до конца и сквозняк раскачивал её на петлях, и она тихонько поскрипывала, как метроном, отсчитывающий секунды в пустом доме.

Тетрадь лежала на подоконнике, там, где Марина её оставила. Серая обложка, потёртые углы, надпись Костиным почерком. Марина взяла её, села на пол, на то самое место, где вчера плакала. Открыла первую страницу.

Почерк Кости, крупный, размашистый, с нажимом, от которого ручка рвала бумагу. Марина провела пальцем по строчкам и почувствовала вмятины на обратной стороне листа, такие глубокие, что Костя, должно быть, давил на ручку изо всех сил, как будто пытался впечатать слова в бумагу, в подоконник, в фундамент дома, в саму землю, чтобы они не исчезли, чтобы остались, чтобы кто-то, она, когда-нибудь их нашёл.

Первая запись была датирована третьим сентября. Год не указан, но Марина знала, что это двухтысячный, последний год, когда Костя был жив, или, точнее, когда он былздесь*, в этом мире, в этом доме, в этой комнате, за этим столом, с этой ручкой в руке.

«3 сентября»

Сегодня я понял, что время это не река. Все думают, что река, а на самом деле это озеро. Большое, круглое и мы все плаваем по кругу, только не помним об этом. Я помню.

Я вижу то, что ещё не случилось. Звучит как бред, да? Я бы тоже так подумал, если бы не знал, что завтра у Сорокиных сгорит сарай. Я это видел. Не во сне, наяву. Стоял у окна и видел, как из их сарая валит чёрный дым и Ленка кричит, и пожарные едут по Набережной, и сирена воет так, что закладывает уши. А потом я моргнул, и сарай стоит целый, и Ленка сидит на крыльце и ест яблоко, и никаких пожарных нет. Но завтра сарай сгорит. Я знаю это так же точно, как знаю, что меня зовут Костя и что у Марины на левой коленке шрам от велосипеда»

Марина опустила тетрадь. Руки дрожали.

Она помнила тот пожар. Четвёртое сентября, суббота, тёплый день, один из последних тёплых дней в том году. Они с Костей сидели на крыльце и ели мороженое, пломбир в вафельном стаканчике по пять рублей, из ларька у остановки, когда со стороны дома Сорокиных повалил чёрный дым. Густой, жирный, с запахом горелого дерева и пластика. Ленка выбежала из калитки в одной майке, босиком, и кричала так, что у Марины заложило уши. Пожарные приехали через двадцать минут, одна машина, старая, ржавая, с воющей сиреной и залили сарай пеной, но к тому моменту от него остались только обугленные балки и куча пепла, в которой тлели остатки велосипеда Ленкиного брата.

Сарай сгорел от короткого замыкания, так потом установили. Старая проводка, искра, сухое дерево. Ничего мистического. Ничего сверхъестественного. Обычный бытовой пожар, каких в Североморске случалось по пять-шесть за лето.

Но Костя написал об этом за день до пожара. За день. И описал всё с точностью до деталей: чёрный дым, Ленка кричит, пожарные едут по Набережной, сирена воет. Совпадение? Должно быть совпадение. Костя мог слышать, как взрослые говорили о старой проводке в сарае Сорокиных, мог догадаться, мог придумать, а потом, когда пожар действительно случился, записать задним числом. Да, именно так. Он всегда был странным, Костя, всегда что-то выдумывал, сочинял, фантазировал. Это была его суперсила и его проклятие.

Марина перевернула страницу.

«10 сентября

Через три дня мама упадёт на лестнице в поликлинике и сломает запястье. Я видел это. Она будет нести сумку с лекарствами, оступится на третьей ступеньке сверху и сумка полетит вниз, и таблетки рассыплются по полу, как конфетти. Мама будет кричать, но не от боли, от злости, потому что она злится, когда ей больно, это её способ не плакать.

Я не знаю, как ей сказать. Если скажу, она не поверит. Если не скажу, она сломает руку. Если попробую её удержать, она сломает руку в другом месте, потому что время - озеро и вода всегда найдёт дорогу. Я попробую. Но я уже знаю, что не получится»

Марина закрыла глаза.

Тринадцатое сентября. Среда. Мама пошла в поликлинику к кардиологу, у неё тогда болело сердце и она ходила на приём каждую неделю, и каждый раз возвращалась с сумкой, полной лекарств, и ворчала, что врачи ничего не понимают, и что таблетки не помогают, и что лучше бы она пила травяной чай, как её мать. Марина была в школе на пятом уроке, на биологии, и помнила, как зазвонил телефон в учительской и кто-то позвал её к директору, и директор сказал: «Марина, твоя мама в больнице, не волнуйся, ничего серьёзного, перелом запястья, езжай домой, мы тебя отпустили».

Она помнила лестницу в поликлинике. Третью ступеньку сверху, на ней была трещина, и мама потом говорила, что зацепилась каблуком за эту трещину, и сумка полетела вниз, и таблетки рассыпались по кафельному полу, как конфетти, и мама кричала от злости, а не от боли, и врач скорой помощи сказал: «Женщина, у вас перелом, вам нужно в травмпункт», а мама ответила: «У меня не перелом, у меня характер такой».

Костя был дома, когда Марина прибежала из школы. Сидел на кухне, пил молоко из кружки с отбитым краем, и лицо у него было белое, как бумага, белее, чем молоко, и он сказал: «Я знал, Мари. Я знал, но я ничего не смог сделать».

Она тогда не поняла. Подумала, что он винит себя за то, что не пошёл с мамой, не подстраховал, не понёс сумку. Погладила его по голове и сказала: «Ты не виноват, Кость. Никто не виноват. Это случайность».

А он посмотрел на неё так, что ей стало страшно, взглядом человека, который знает что-то ужасное и не может это ни с кем разделить, и сказал: «Я не про вину, Мари. Я про знание. Знать и не мочь изменить это хуже, чем не знать. Это как стоять за стеклом и видеть, как тонет человек, и не мочь разбить стекло».

Марина открыла глаза и перевернула ещё одну страницу. Потом ещё. И ещё. Записи становились длиннее, почерк нервнее, нажим сильнее. Костя описывал события с точностью, которая не могла быть случайной: кто что скажет, какая будет погода, в каком часу зазвонит телефон и кто будет на другом конце провода. Он описывал ссоры, которые ещё не произошли, дожди, которые ещё не выпали, смерти, которые ещё не случились.

«28 сентября.

Дядя Миша умрёт в пятницу. Сердце. Он будет сидеть в гараже и чинить карбюратор и вдруг схватится за грудь, и упадёт на спину, и будет смотреть в потолок, и думать о том, что не успел поменять масло. Глупая мысль для последней минуты, но люди всегда думают о глупостях в конце. Я видел это.

Я не скажу маме. Она и так не спит по ночам. Если я скажу, она начнёт звонить дяде Мише каждые полчаса и он будет раздражаться, и поедет в гараж, чтобы от неё сбежать, и умрёт там же, в то же время, от того же самого. Время - озеро. Вода всегда найдёт дорогу.

Я ненавижу это озеро»

Дядя Миша умер второго октября. В пятницу. В гараже. Сердце. Марина помнила, как мама звонила ему весь вечер и не могла дозвониться, и как папа поехал к нему в гараж и нашёл его лежащим на спине, с глазами, открытыми в потолок, и с гаечным ключом в руке, и как на верстаке стоял разобранный карбюратор, а канистра с маслом так и осталась закрытой. Он не успел поменять масло, точно как написал Костя.

Марина перевернула страницу и наткнулась на запись, от которой у неё перехватило дыхание.

«15 октября

Через двенадцать дней я уйду.

Я не хочу. Господи, как я не хочу. Но я знаю, что уйду, потому что я уже вижу это - туман, утро, дорога к маяку и кто-то зовёт меня по имени, и голос такой знакомый, но я не могу разобрать, чей он. Мама? Марина? Или кто-то, кого я ещё не встретил?

Я знаю, что не вернусь. Я вижу это так же ясно, как вижу своё лицо в зеркале. Но я не знаю, почему. Это единственное, чего я не вижу - причину. Я вижу следствие, но не причину. Я вижу конец, но не начало. И это сводит меня с ума.

Марина, если ты это читаешь, прости. Я не хотел тебя оставлять. Я хотел остаться. Я хотел, чтобы мы вместе состарились и сидели на крыльце и вспоминали, как в детстве прыгали с пирса в ледяную воду. Но время - озеро и я не умею плавать против течения.

Хотя течения в озере нет. В этом и проблема»

Марина уронила тетрадь на колени.

Двенадцать дней. Костя знал за двенадцать дней. Двенадцать дней он жил, зная, что уйдёт, и ни словом не обмолвился, и ходил в школу, и рисовал карты, и ел йогурты, и спорил с Мариной из-за наушников, и вёл себя так, будто впереди у него целая жизнь, а не двенадцать дней.

Она представила его в те последние дни: семнадцатилетний мальчишка с веснушками на носу, в синем свитере с оленями, с рюкзаком за спиной и с тайной внутри, которая давила на него, как камень на грудную клетку. Как он спал? Как ел? Как смотрел на маму, зная, что видит её в последний раз? Как смотрел на Марину?

«Марина, если ты это читаешь — прости»

Она читала двадцать лет спустя, в пустом доме, на холодном полу, в комнате, которая пахла пылью и забвением, она читала его прощание и не могла его простить. Не потому, что он ушёл, а потому, что не сказал ей. Потому что оставил её гадать двадцать лет, винить себя, думать, что если бы она не хлопнула дверью в то утро, если бы не съела его йогурт, если бы пошла за ним, всё было бы иначе.

А он знал. Он всё знал заранее и не сказал.

Марина встала, подошла к окну и посмотрела на улицу через щель в фанере. Серое море, мокрый асфальт, голые деревья, гудок парохода вдалеке. Ничего не изменилось. Двадцать лет и ничего не изменилось. Североморск застыл во времени, как муха в янтаре, и Марина вдруг подумала, что, может быть, Костя был прав. Может быть, время здесь действительно не река, а озеро. Круглое, замкнутое, безвыходное.

Она достала телефон из кармана куртки. Экран показал одно деление батареи и дату: 24 октября. До годовщины исчезновения Кости оставалось три дня.

Марина набрала номер коллеги Димы, заместителя главного редактора, который сидел в кабинете напротив и который всегда говорил, что Марина единственный человек в издательстве, кто работает больше, чем спит.

— Дим, это я.

— Марина! Ты где? Ты должна была быть на совещании вчера. Я за тебя отдувался, шеф спрашивал, я сказал, что ты заболела, но он не поверил, ты же никогда не болеешь, ты даже в тридцать восемь градусов приходила с температурой и правила рукописи, и...

— Дим. — Она остановила его поток, как останавливала его на планёрках, одним коротким словом. — Мне нужно продлить отпуск. На неопределённый срок.

Пауза. Дима молчал так долго, что Марина подумала, что связь оборвалась.

— На неопределённый? — переспросил он, наконец. — Марин, у нас дедлайн по Ивановой через две недели. Ты единственная, кто может довести эту рукопись до ума. Что случилось?

— Ничего не случилось. — Она посмотрела на тетрадь в своих руках. — Вернее, случилось двадцать лет назад и я только сейчас начала разбираться.

— Это как-то связано с тем городом, куда ты уехала? Североморск, да?

— Да.

— Марин, — голос Димы стал мягче и в нём появилось то осторожное сочувствие, которое Марина терпеть не могла, потому что оно напоминало ей о том, что все вокруг считают её женщиной с дырой в биографии, с братом, который пропал, с матерью, которая умерла, не дождавшись ответов, — ...ты уверена, что тебе не нужен психолог, а - отпуск?

— Мне нужен отпуск, Дим. И время. И тишина. И чтобы меня никто не трогал хотя бы месяц. Ты справишься с Ивановой без меня. У тебя есть Саша, у неё хороший глаз.

— Саша путает тире и дефис, — буркнул Дима, но Марина слышала, что он уже сдался. — Ладно. Месяц, но если через месяц ты не вернёшься, я приеду за тобой сам и привезу тебя в наручниках.

— Договорились. Спасибо, Дим.

— Марин? Береги себя. И... если тебе нужно поговорить - звони. В любое время. Даже ночью. Я не сплю, ты знаешь.

— Знаю. Спасибо.

Она повесила трубку и посмотрела на телефон. Одно деление. Зарядка где-то в чемодане, на первом этаже, в сумке с проводами. Нужно спуститься, найти, поставить на зарядку. Нужно поесть, она не ела со вчерашнего чая. Нужно включить воду, проверить газ, позвонить тёте Вере и сказать, что она остаётся не на неделю, а на месяц, а может и дольше.

Но вместо всего этого она села обратно на пол, открыла тетрадь на последней заполненной странице и прочитала запись, от которой у неё закружилась голова.

«22 октября

Пять дней.

Я нашёл вход. Он за маяком, в лесу, там, где тропинка раздваивается и одна ветка уходит в чащу, а другая - к обрыву. Нужно идти в чащу, хотя компас показывает, что там тупик. Компас врёт. В этом месте все компасы врут, потому что магнитное поле озера сильнее земного.

Озеро круглое, идеально круглое, как нарисованное циркулем. Вода чёрная, неподвижная, не отражает небо. Посередине - остров и на острове маяк. Не наш, не тот, что на мысу, а другой, маленький, белый, с красной крышей. Свет в фонаре горит, хотя маяк заброшен. Я не знаю, кто его зажигает. Может, я сам. Может, тот, кем я стану, когда войду.

Я нарисовал карту. Приложил к этой записи. Это не выдуманный остров, Мари. Это не Мариания и не Атлантида. Это реальное место, в реальном лесу, в трёх километрах от нашего дома. И оно ждёт меня. Оно зовёт меня каждую ночь, тихим голосом, как мама, когда я был маленьким и боялся темноты.

Я войду. Я должен войти. Потому что если я не войду, озеро придёт за мной само. И тогда оно заберёт не только меня, но и тебя»

К записи был приложен лист бумаги, сложенный вчетверо и засунутый между страницами. Марина вынула его, развернула и увидела карту.

Костина карта. Нарисованная тушью, тонким пером, с той скрупулёзной точностью, которая всегда поражала Марину в его рисунках. Круглое озеро. Остров посередине. Маяк на острове. Крестик у берега и слово «ВХОД», написанное красными чернилами, которые за двадцать лет побурели и стали похожи на засохшую кровь.

А на полях - координаты. Настоящие географические координаты, написанные Костиным почерком: 69°12'N, 33°25'E.

Марина смотрела на карту и чувствовала, как внутри неё что-то сдвигается, как тектоническая плита, которая лежала неподвижно двадцать лет и вдруг начала двигаться, и от этого движения дрожала земля, и трескались стены, и рушились перекрытия, и всё, что она знала

о мире, о времени, о смерти, о брате, всё это трещало и сыпалось, как штукатурка с потолка старого дома.

Костя не сошёл с ума. Костя не выдумал озеро. Озеро было реальным. Оно было здесь, в трёх километрах от дома, в лесу за маяком и оно ждало Костю, и Костя вошёл в него, и не вернулся, и теперь оно ждало её.

«Если я не войду, озеро придёт за мной само. И тогда оно заберёт не только меня, но и тебя».

Марина сложила карту, вложила её обратно в тетрадь, прижала тетрадь к груди и посмотрела в окно. За фанерой шумело море и ветер выл, и где-то вдалеке, на мысу, стоял старый маяк - белый, мёртвый, с пустыми глазницами окон, и Марина думала о том, что завтра она пойдёт к нему. Не через неделю, не через месяц, не после того, как оформит документы и продаст дом. Завтра. Потому что Костя ждал её двадцать лет и она не имела права заставлять его ждать ещё ни одного дня.

Она спустилась вниз, нашла зарядку, поставила телефон на подоконник в гостиной, легла на диван и закрыла глаза. Сон не шёл. В голове крутились Костины слова, как шарманка, которая заела на одной и той же ноте: время - озеро, время - озеро, время - озеро.

И ещё одна мысль, от которой у неё холодело внутри: если Костя видел будущее так точно, если он знал о пожаре, о переломе, о смерти дяди Миши, о собственном исчезновении, значит он видел и то, что будет после. Значит, он знал, что мама умрёт от рака через восемнадцать лет. Знал, что папа умрёт от инфаркта через год. Знал, что Марина уедет в Москву и не вернётся двадцать лет.

Знал всё и молчал. Потому что время - озеро и вода всегда найдёт дорогу, и что бы он ни сделал, что бы ни сказал, итог будет один и тот же. Сарай сгорит. Мама сломает руку. Дядя Миша умрёт. Папа умрёт. Мама умрёт. Костя уйдёт.

Единственное, что он мог изменить, это судьбу Марины. И он изменил её. Ценой себя.

Марина перевернулась на бок, уткнулась лицом в подушку, пахнущую нафталином, и прошептала в темноту:

— Зачем, Кость? Зачем ты это сделал?

Ответом был только ветер за окном и шум моря, которое билось о берег, как сердце, которое не может остановиться, хотя тело давно мертво.

Глава 3 Петрович

Во вторник утром Марина проснулась раньше будильника, в шесть, когда за окном было ещё темно, а море шумело так громко, что казалось, волны вот-вот перехлестнут через обрыв и зальют дом до второго этажа. Она лежала и слушала этот шум, и думала о том, что в Москве она просыпается от гудения холодильника и от света фонаря, который бьёт в окно через щель в шторах, и что эти два пробуждения, московское и североморское, похожи друг на друга, как две фотографии одного и того же человека, сделанные с разницей в двадцать лет: вроде тот же человек, но глаза другие.

Она встала, умылась холодной водой , горячую ещё не дали, и тётя Вера обещала, что дадут сегодня, но пока из крана текла ледяная струя, от которой ломило зубы, оделась в джинсы и свитер, выпила чай с печеньем и села за стол с телефоном и блокнотом.

Блокнот она купила вчера вечером, в единственном книжном магазине, который чудом ещё не закрылся. Магазин назывался «Северная книга» и занимал половину первого этажа в доме на Советской, а вторую половину — аптека, и запах книг смешивался с запахом лекарств, создавая странную, но уютную атмосферу, как будто здесь лечили не тело, а душу. Продавщица пожилая женщина в очках на цепочке посмотрела на Марину с любопытством и спросила: «Вы не местная?» Марина ответила: «Местная. Просто давно не была». Продавщица кивнула, как будто это объясняло всё, и пробила чек, не сказав больше ни слова.

В блокноте Марина записала план на день:

1. Нотариус Петрович. 9:00. Ул. Ленина, 14, каб. 3.
2. Узнать про признание Кости умершим.
3. Узнать, можно ли продать дом без суда.
4. Не забыть паспорт и доверенность.

Пункт четвёртый она подчеркнула дважды, потому что тётя Вера звонила вчера вечером три раза и каждый раз напоминала: «Не забудь паспорт, не забудь доверенность, не забудь, что Петрович закрывается в обед, этот лентяй, хотя какой он лентяй, он просто старый, ему уже за семьдесят, и он один в этой конторе, и помощница у него ушла в декрет, и он сидит там как сыч в дупле, и...» Марина положила трубку после третьего звонка, не дожидаясь конца фразы.

К нотариусу она пошла пешком. Дом на Набережной стоял на отшибе и до центра было минут двадцать быстрым шагом. Марина шла по знакомым улицам, и утренний город был пустым, как декорация к фильму, который ещё не начали снимать. Ни машин, ни людей, только чайки на крышах и кот, который сидел на заборе и смотрел на неё жёлтыми глазами с выражением полного безразличия.

Улица Ленина не изменилась. Те же двухэтажные дома с деревянными наличниками, те же палисадники, заросшие бурьяном, те же таблички с названиями учреждений, выцветшие до неразличимости. Дом номер четырнадцать кирпичный, с лепниной над входом, которая обвалилась наполовину, и с вывеской «Нотариальная контора. Петрович П.С.», прибитой к стене кривыми гвоздями.

Марина поднялась на второй этаж по лестнице, покрытой линолеумом, который помнил, наверное, ещё советские времена, и постучала в дверь с табличкой «Каб. 3».

— Войдите, — раздался из-за двери голос, тонкий и быстрый, как стрекотание сверчка.

Кабинет Петровича оказался именно таким, каким Марина его представляла, хотя никогда раньше здесь не была: тесным, захламлённым, пропитанным запахом старого кофе и бумаги. Папки стояли везде, на полках, на столе, на полу, на подоконнике, на стульях, и казалось, что они растут из стен, как грибы из трухлявого пня, и что ещё немного и они поглотят и стол, и кресло, и самого Петровича.

Петрович сидел за столом, заваленным документами, и пил кофе из кружки с надписью «Лучший нотариус года». Он был маленьким, лысым, с головой, похожей на очищенное яйцо, и с очками в толстых линзах, от которых его глаза казались огромными и удивлёнными, как у лемура. На нём был пиджак, который был ему велик, и галстук, который был ему короток, и в целом он производил впечатление человека, который собирался на важную встречу, но оделся в темноте.

— А, дочь Соколовых! — Петрович вскочил из-за стола с неожиданной для его возраста прытью и протянул Марине руку. Ладонь у него была сухой и горячей, как нагретая солнцем галька. — Я вас ждал. Двадцать лет ждал. Думал, не дождусь. Садитесь, садитесь, вот сюда, только папки подвиньте, я их потом уберу, или не уберу, как получится.

Он говорил быстро, перескакивая с мысли на мысль, как воробей с ветки на ветку, и Марина едва успевала следить за его речью.

— Дом на Набережной, двенадцать, так? Двухэтажный, деревянный, участок шесть соток, сарай, баня, всё в плачевном состоянии, но земля хорошая, земля в Североморске сейчас в цене, вы не представляете, тут один москвич хотел купить участок под гостевой дом, но не сложилось, у него жена заболела, или собака, не помню, в общем, не сложилось. Вы кофе хотите? Нет? А я хочу, у меня давление, мне врач сказал пить кофе, хотя какой из него врач, он сам курит как паровоз, но ладно. В общем, наследство на вас оформлено, вы единственная наследница, после того как вашу маму... ну, вы знаете.

— Знаю, — сказала Марина, садясь на стул, с которого она предварительно сняла стопку папок и поставила их на пол. — Я хочу продать дом.

Петрович кивнул, как будто она сообщила ему, что сегодня вторник и отпил кофе.

— Конечно, конечно. Ваше право. Дом ваш, земля ваша, продавайте, кто ж вам запретит. Но есть нюанс. Маленький такой нюансик. Дело в том, что ваш брат...

— Брат пропал без вести. Он не умер. Юридически.

— Именно! — Петрович ткнул в неё пальцем, и его очки съехали на кончик носа. — Юридически он не умер. Юридически он пропал. А это значит, что половина дома принадлежит ему. По закону, по Гражданскому кодексу, по здравому смыслу, по всем мыслимым и немыслимым нормам. И пока вы не оформите признание его умершим, вы не можете продать свою долю без... ну, вы понимаете, бюрократия, она как гидра, одну голову отрубишь - две вырастают, и каждая голова требует справку, и каждая справка требует печать, и каждая печать требует очередь, и так до бесконечности.

— Я могу подать на признание смерти? — спросила Марина, и слово «смерть» застряло у неё в горле, как кость.

— Можете. Прошло двадцать лет, срок давности истёк десять раз, и даже одиннадцать, если считать по лунному календарю, шучу, но суть вы уловили. Но для этого нужно... он полез в папку и достал оттуда лист, покрытый мелким шрифтом, который Марина не смогла бы прочитать без лупы, ...заявление в суд, справка из полиции, свидетельство о последнем месте жительства, показания свидетелей, выписка из домовой книги, и ещё, кажется, справка о том, что его не видели на Луне, шучу, но суть вы уловили. Процесс займёт месяца три-четыре. Может, полгода, если судья не будет в отпуске, а судья у нас вечно в отпуске, то на рыбалке, то на даче, то в запое, простите за откровенность.

Полгода. Марина не планировала оставаться в Североморске полгода. У неё была работа в Москве — редактор в издательстве, дедлайны, совещания, кошка Муся, которую кормила соседка и которая, наверное, уже начала мстить за долгое отсутствие, царапая диван и писая в тапки. У неё была жизнь, пусть и не самая яркая, но своя, обжитая, как старое кресло, в котором знаешь каждую складку и каждую пружину.

— А если я не буду продавать? — спросила она, не зная, зачем это говорит.

Петрович пожал плечами и его пиджак съехал на одно плечо, как у мальчишки, который подрался на перемене.

— Тогда дом останется вашим. Ну, наполовину. Вторая половина будет висеть в воздухе, как призрак вашего брата, простите за бестактность. Вы можете жить в нём, сдавать его, снести его, в конце концов, но продать целиком нет. Не без суда.

Он посмотрел на неё своими лемурьими глазами и в его взгляде Марина вдруг заметила что-то, что заставило её насторожиться. Не деловую заинтересованность, не профессиональную вежливость, а что-то другое — что-то личное, затаённое, как заноза под ногтем. Сочувствие? Любопытство? Или что-то ещё — что-то, что она не могла прочитать за толстыми линзами?

— Марина Викторовна, — сказал Петрович и голос его вдруг стал тише, серьёзнее, и он перестал ёрзать на стуле, и перестал поправлять очки, и на секунду стал похож не на нелепого старичка-нотариуса, а на кого-то другого, кого-то, кем он был до того, как стал нотариусом, — я знаю этот город. Я здесь родился, здесь вырос, здесь умру, скорее всего, за этим вот столом, с этой вот кружкой в руке, и пусть меня похоронят в папках, я не против. И я знаю историю вашей семьи. Все знают. В маленьком городе тайн не бывает, бывают только отложенные разговоры. Двадцать лет назад ваш брат вышел из дома и не вернулся. Полиция искала, не нашла. Море не вынесло. Лес не показал. Он просто... растворился. Как туман. Как сахар в чае. Как всё в этом городе, что не прибито гвоздями.

Он сделал паузу и допил кофе, и в этой паузе Марина услышала, как тикают часы на стене — громко, ритмично, как метроном, отсчитывающий секунды до чего-то, что ещё не случилось.

— Но я скажу вам одну вещь, которую не говорят вслух, — продолжил Петрович, наклонившись вперёд и понизив голос до шёпота, хотя в кабинете, кроме них двоих, не было никого, если не считать папок, которые, казалось, тоже слушали. — В Североморске люди не пропадают просто так. Здесь каждый камень на счету, каждая тропинка известна, каждый куст имеет имя. Если человек пропал — значит, кто-то помог ему пропасть. Или кто-то помешал ему вернуться. Понимаете, о чём я?

Марина почувствовала, как по спине пробежал холодок, тонкий и острый, как лезвие ножа.

— Вы что-то знаете? — спросила она, и голос её прозвучал чужим, слишком громким в этой тесной комнате.

Петрович покачал головой, и его очки снова съехали на нос.

— Я ничего не знаю. Я нотариус, а не детектив. Я бумажки оформляю, печати ставлю, доверенности заверяю. Но я слышу разговоры. В маленьком городе стены тонкие, а уши длинные, и то, что один сказал другому в бане, через неделю знает весь город, включая собак и чаек. И если вы решили копаться в прошлом, будьте осторожны. Прошлое в Североморске это не архив. Это минное поле. Один неверный шаг и бум.

Он откинулся на спинку кресла, и кресло скрипнуло, как старая лодка на волне, и на его лице снова появилась та нелепая, суетливая улыбка, которая делала его похожим на персонажа из детской книжки.

— Ну, что ж! — воскликнул он, как будто ничего не произошло, как будто он не только что сказал ей, что её брат мог быть убит, а не пропал.

— Подумайте. Решите. Если надумаете подавать на признание смерти, заходите в четверг, я подготовлю бланки. И ещё... — он замялся, поправил очки, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на страх, — ...не ходите к маяку ночью. Там опасно. Обрыв, туман, скользкие камни и вообще... не ходите. Обещайте мне.

— Почему к маяку? — спросила Марина и сердце её забилось быстрее.

— Потому что там обрыв, — повторил Петрович, и в его голосе прозвучала фальшь, тонкая, но отчётливая, как трещина в стекле. — Потому что темно. Потому что опасно. Обычные причины, Марина Викторовна, ничего мистического. Я старый человек, я боюсь за молодых, это профессиональная деформация. Ну, всё, бегите, у меня через десять минут клиент, вдова из Видяево, она приходит каждые полгода переписывать завещание, каждый раз добавляет нового кота, у неё их уже семь, и все рыжие, и все в завещании.

Он проводил её до двери, пожимая руку, и на прощание сказал:

— Берегите себя, Марина Викторовна. И дом берегите. Дома в Североморске это не просто стены. Это память. А память, знаете ли, бывает зубастой.

Марина вышла на улицу и постояла под моросящим дождём, глядя на визитку, которую Петрович сунул ей в руку. «Петрович Павел Степанович. Нотариус. Лучший нотариус года». И телефон, написанный от руки, кривыми цифрами, как будто он не доверял печатному шрифту.

Петрович. Нотариус. Лысый, суетливый, в пиджаке не по размеру. Человек, который двадцать лет ждал её приезда. Который знает историю её семьи. Который предупредил её не ходить к маяку ночью.

Почему к маяку?

Костя любил маяк. Ходил туда каждый день после школы, садился на камни у основания и рисовал свои карты. Говорил, что маяк это единственное место в Североморске, где время идёт правильно, не по кругу, а прямо, как стрелка на часах. Марина смеялась над ним. А теперь Петрович, человек, которого она видит первый раз в жизни, сказал ей не ходить к маяку ночью.

Совпадение?

Она сунула визитку в карман и пошла по улице Ленина, и дождь моросил, и асфальт блестел, и в витрине «Северной книги» она увидела своё отражение - худое, бледное, с тёмными кругами под глазами, — и подумала, что выглядит как человек, который не спал двадцать лет. Что, в общем-то, было правдой.

Дома её ждала тётя Вера. Она сидела на крыльце, на перевёрнутом ведре и чистила рыбу - сига, крупного, серебристого, с глазами, которые смотрели на Марину с укоризной, как будто знали что-то, чего она не знала.

— Маринка! — Тётя Вера вскочила, вытерла руки о фартук и бросилась обнимать её, оставив на куртке рыбные чешуйки. — Ну как? Петрович что сказал? Продашь дом? Уедешь? Останешься? Я пирог испекла, с рыбой, с луком, с яйцом, как ты любила в детстве, помнишь?

— Тёть Вер, — Марина мягко отстранилась, — я пока не знаю. Петрович сказал, что нужно признать Костю умершим, а это суд, и это полгода.

Тётя Вера замерла. Рыба выскользнула из её рук и шлёпнулась на крыльцо, и тётя Вера не подняла её, а стояла и смотрела на Марину, и в её глазах было то самое выражение, которое Марина видела у мамы в последние годы, — смесь надежды и ужаса, как будто признание Кости мёртвым означало не юридическую формальность, а второе убийство.

— Признать умершим, — повторила тётя Вера тихо, и голос её дрогнул. — Это же... это значит, что он точно мёртв? Что его больше нет? Что мы... что мы его похороним? Пустой гроб? Как папу твоего хоронили, помнишь? Гроб пустой, а мама кричала, кричала...

— Тёть Вер, это просто бумага. Юридическая формальность. Костя и так... — Марина не договорила, потому что не знала, как закончить фразу. Костя и так мёртв? Костя и так пропал? Костя и так в озере, на острове, в маяке, в другом времени? — ...и так его нет двадцать лет.

— Нет! — Тётя Вера вдруг схватила её за руки и пальцы у неё были сильными, жилистыми, рыбьими от чешуи, и в её хватке было отчаяние, которое Марина не ожидала увидеть в этой маленькой, суетливой, вечно болтающей женщине. — Не говори так! Он не мёртв! Я чувствую, Маринка, я чувствую его! Каждый день, каждое утро, когда я иду мимо вашего дома,

я чувствую, что он там, внутри, за стенами, за окнами, и он ждёт, и он живой, и если мы признаем его мёртвым, то мы убьём его по-настоящему, понимаешь? По-настоящему.

Она заплакала, громко, навзрыд, уткнувшись лицом в плечо Марины, и Марина стояла на крыльце, обнимая тётю Веру, и чувствовала, как слёзы тёти Веры пропитывают её куртку, и думала о том, что в этом городе все помешаны на Косте. Все — тётя Вера, Ленка, Петрович, Илья, озеро, маяк, — все держатся за него, как за последнюю нитку, и если эту нитку перерезать, весь город рассыплется, как карточный домик.

— Ладно, тёть Вер, — сказала она, гладя тётю Веру по спине. — Ладно. Я не буду подавать на признание смерти. Пока. Давай сначала пирог поедим, а потом подумаем.

Тётя Вера тут же перестала плакать, вытерла глаза фартуком и засуетилась: «Пирог, да, пирог, он в духовке, я его тёплым держу, иди в дом, я сейчас, только рыбу дочищу, и чай поставлю, и варенье достану, из брусники, свежее, я вчера собирала, в лесу, за маяком, там брусника хорошая, крупная, сладкая...»

За маяком.

Марина замерла в дверях.

— Тёть Вер, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, — вы ходите в лес за маяком? Часто?

— А то! Каждую осень. Там брусника, там грибы, там черника летом. Хороший лес, старый, я его с детства знаю, каждую тропинку, каждую полянку. А что?

— Ничего. Просто спрашиваю. А вы... не замечали там ничего странного? В лесу?

Тётя Вера посмотрела на неё, и в её глазах мелькнуло что-то — тень, облако, рябь на воде, — и тут же исчезло, сменившись обычной тётивериной суетливостью.

— Странного? Нет, ничего странного. Лес как лес. Деревья, грибы, ягоды. Комары летом, клещи, гадость, но терпеть можно. А что странного ты имеешь в виду, Маринка? Ты чего-то боишься? Не бойся, тут медведей нет, только лисы и зайцы, и те людей боятся больше, чем мы их.

Она отвернулась и продолжила чистить рыбу, и Марина вошла в дом, и села за стол, и достала блокнот, и записала:

«Тётя Вера ходит в лес за маяком. Говорит, что ничего странного не замечала, но когда я спросила, на секунду испугалась. Или мне показалось?»

И добавила ниже:

«Петрович предупредил не ходить к маяку ночью. Тётя Вера ходит в лес за маяком днём. Илья знает озеро в лесу за маяком. Костя нашёл вход за маяком. Все дороги ведут к маяку. Почему все боятся маяка?»

Она закрыла блокнот и посмотрела в окно. День клонился к вечеру и небо над морем окрасилось в тёмно-фиолетовый цвет, как синяк, и на этом фоне маяк на мысу вырисовывался чёткой белой линией, как кость, торчащая из земли.

И тут Марина заметила то, от чего у неё перехватило дыхание.

У забора, в тени соседнего дома, стоял человек. Он не двигался, не курил, не смотрел на телефон, он просто стоял и смотрел на окна дома номер двенадцать. На её окна. В сумерках его лицо было неразличимо, но фигура - высокая, сутулая, в тёмной куртке, казалась знакомой, хотя Марина не могла понять, откуда она её знает.

Она встала, подошла к окну и прижалась лицом к стеклу, пытаясь разглядеть. Человек не шелохнулся. Он стоял неподвижно, как статуя, и в его неподвижности было что-то неестественное, пугающее, как в неподвижности хищника, который замер перед броском.

Марина дёрнула занавеску и человек тут же отступил в тень, шагнул за угол дома и исчез, как будто его никогда не было. Как будто он растворился в сумерках, в тумане, в том самом озере, о котором писал Костя.

Марина стояла у окна ещё пять минут, глядя на пустую улицу, на мокрый забор, на тёмные окна соседнего дома. Никого. Тишина. Только чайки кричат на крышах и море бьётся о берег.

Она вернулась к столу, открыла блокнот и записала последнюю строчку дня:

«За мной следят. Не знаю кто. Не знаю зачем. Но Петрович был прав: прошлое в Североморске - это минное поле. И я только что наступила на первую мину».

Потом она поела пирог с рыбой,ион был вкусным, горячим, с хрустящей корочкой, точно как в детстве, и запила его чаем с брусничным вареньем, и поблагодарила тётю Веру, и проводила её до калитки, и заперла дверь на два оборота, и проверила окна, и легла на диван, и закрыла глаза.

Сон не шёл. В голове крутились лица - Петрович, тётя Вера, Ленка, Илья, человек у забора, и все они смотрели на неё, и все что-то скрывали, и все знали о Косте больше, чем говорили, и Марина чувствовала себя так, будто она пришла на спектакль в середине второго акта и не понимает, кто кого убил и почему все плачут.

Но одно она знала точно: завтра она пойдёт к маяку, не ночью - днём. Петрович сказал не ходить ночью, но про день он ничего не говорил. И она пойдёт не одна, она возьмёт с собой телефон, фонарик, нож из кухонного ящика и Костин дневник. И она найдёт вход в лесу, и она найдёт озеро, и она посмотрит в чёрную воду, и она узнает, что Костя видел в ней двадцать лет назад.

Время - озеро. Но у каждого озера есть дно. И Марина собиралась до него докопаться, чего бы ей это ни стоило.

За окном завыл ветер, и ставни на втором этаже хлопнули, как выстрел, и Марина вздрогнула, и подумала, что в этом доме даже ветер звучит как предупреждение.

Она натянула одеяло до подбородка, сжала в кулаке ключ от дома, тот самый, новый, блестящий, который дала ей тётя Вера, и прошептала в темноту:

— Я не уеду, Кость, пока не найду тебя. Или пока не пойму, что тебя нельзя найти. Но я не уеду. Обещаю.

И дом скрипнул в ответ тихо, почти нежно, как будто услышал.

Глава 4 Ленка

Среда началась с собачьего лая.

Марина проснулась не от холода. Печь, которую она с третьей попытки научилась топить вчера вечером, ещё держала слабое, глухое тепло в кирпичах, а от яростного, захлёбывающегося визга под окнами. Лаяла собака мелкая, но с амбициями сторожевого пса, и этот визг в утренней сырости резал уши, как тупая пила по ржавому гвоздю.

Марина села на диване, потирая виски. Голова гудела после бессонной ночи. Образ человека, стоявшего в сумерках у забора, так и не отпустил её: стоило закрыть глаза, как в темноте под веками проступал этот тёмный силуэт в надвинутом капюшоне - неподвижный, выжидающий, нечеловечески терпеливый.

Она натянула толстый свитер, сунула ноги в шерстяные носки и подошла к окну.

У калитки разворачивалась трагикомедия.

Женщина в ярко-красном, дутом пуховике, похожем на спасательный плот, отчаянно боролась с поводком-рулеткой. На другом конце поводка бился, крутился волчком и рыл мокрую землю лохматый рыжий комок размером с валенок. Женщина пыталась одновременно удержать зверя, открыть заклинивший засов калитки ногой и поправить сползающий на глаза вязаный берет цвета увядшей сирени.

— Боня! Бонифаций, чтоб тебя разорвало на три части! Сядь! — доносился сквозь двойные рамы сиплый, сорванный голос. — Сядь, кому говорю! Ты меня перед людьми позоришь! Фу! Не жри палку, она гнилая!

Марина замерла у стекла.

Ленка.

Двадцать лет назад Ленка Сорокина была тощей, длинноногой девчонкой с вечно сбитыми коленками и двумя тугими косичками, в которые она вплетала ядовито-зелёные капроновые ленты. Она бегала быстрее всех пацанов на улице, воровала у отца из гаража вяленую корюшку и знала наизусть все песни группы «Руки Вверх!». Теперь перед калиткой стояла грузная, широкоплечая женщина за сорок, с тяжелыми бедрами, круглым лицом и одышкой, но в том, как она яростно пнула заевшую деревяшку калитки, было столько знакомой, бешеной сорокинской энергии, что у Марины перехватило горло.

Она спустилась по ступенькам крыльца, не надевая куртки.

Воздух был сырым, пахло прелыми водорослями и дымом из котельной. Снег, выпавший ночью тонкой коркой, уже растаял, превратившись в серую водянистую кашу под ногами.

— Ленка?

Женщина в красном пуховике замерла с поднятой ногой. Засов, наконец, поддался, калитка со скрипом распахнулась, и рыжий Боня, воспользовавшись моментом, рванул вперед, описал вокруг ног Марины два бешеных круга, запутав её поводком, и уселся прямо на её ботинок, вывалив длинный розовый язык.

Ленка медленно опустила ногу. Берет съехал совсем набок, обнажив светлые у корней, крашеные в медовый цвет волосы. Её лицо за какие-то три секунды сменило пять выражений: раздражение сменилось испугом, испуг — недоверием, недоверие — ошеломлением, и, наконец, по щекам, прямо по неровно наложенному тональному крему, потекли крупные, злые слёзы.

— Маринка... — выдохнула она, и голос её сорвался на петушиный фальцет. — Господи, Маринка...

Она бросила рулетку поводка на землю, сделала два тяжёлых шага и сгребла Марину в охапку.

От Ленки пахло знакомо и чужой жизнью: резкими сладкими духами «Красная Москва» (или чем-то очень похожим из каталога недорогой косметики), сигаретным дымом, свежим хлебом и собачьей шерстью. Она сжала Марину так, что у той хрустнули позвонки, и уткнулась мокрым носом ей в шею, всхлипывая тяжело, по-бабьи, сотрясаясь всем своим большим, тёплым телом.

— Ты приехала... дура городская, приехала всё-таки... Я вчера Веру встретила у аптеки, она говорит: «Маринка в доме сидит, бледная, как моль, никого не пускает». А я думаю врут, не вернётся она, не сможет... двадцать лет, Маринка... двадцать лет, сволочь ты такая...

— Лен, пусти, задушишь, — пробормотала Марина, чувствуя, как у самой предательски щиплет глаза. — И собака твоя меня сейчас сожрёт.

Боня, поняв, что внимание переключилось, с энтузиазмом вгрызся в край Мариниого свитера.

Ленка отстранилась, шумно шмыгнула носом и вытерла щёки тыльной стороной вязаной варежки, размазав тушь под глазами.

— Боня, фу, брось интеллигенцию! — рявкнула она на пса, и тот моментально отпустил шерсть, сделав вид, что чрезвычайно заинтересован дождевым червем на дорожке. — Ты глянь на себя. Кожа да кости. В Москве там вас не кормят, что ли? Одни глаза остались, как у совы. Пошли в дом, простынешь ведь, на дворе не май месяц.

Они поднялись на крыльцо. Марина пропустила гостью на кухню. В доме всё ещё витал запах вчерашней гари от растопки и рыбного пирога тёти Веры, но Ленка по-хозяйски, даже не разуваясь, только скинув галоши у порога, прошла к плите.

— Газ горит? Горит. Чайник где? А, вот он, старый наш, с эмалью отбитой... — Она схватила чайник, сунула под кран, поморщилась: — Ржавая идёт. Надо слить минут десять, трубы-то внизу сгнили к чёртовой матери. Я Сергею скажу, он в выходные глянет, у него руки из того места растут, не то что у некоторых.

Она говорила без остановки, заполняя собой всё пространство маленькой кухни, и Марина стояла у дверного косяка, прислонившись плечом к крашеному дереву, и смотрела на неё. Это было странное, двоящееся ощущение. Перед ней была сорокалетняя уставшая женщина с морщинами вокруг рта и загрубевшими пальцами продавщицы, но жесты- то, как она поправляла берет, как сдувала челку со лба, как прикусывала нижнюю губу, пока ждала, когда закипит вода, были абсолютно, до боли теми же, тринадцатилетними.

— Почему ты не звонила, Лен? — спросила Марина тихо, перебивая её монолог о ценах на макароны в «Берёзке».

Ленка замерла спиной к ней. Рука с коробкой чая повисла в воздухе.

Шум закипающего чайника внезапно стал единственным звуком в доме. За окном шелестел мелкий дождь, ударяясь о фанеру на втором этаже.

— Стыдно было, — сказала Ленка, не поворачиваясь. Голос её изменился: слетела напускная бодрость, осталась только глухая, застарелая усталость. — Очень стыдно, Марин.

— За что?

Ленка медленно повернулась. Поставила коробку на стол, оперлась об нее руками. Пальцы с облупившимся перламутровым лаком мелко подрагивали.

— За то, что я осталась жить, а он -нет. За то, что у меня свадьба была через два года после... после того дня. Белое платье, пьяные рожи, гармонь эта дурацкая... Твоя мама мимо забора нашего шла в магазин, в чёрном платке вся, сгорбленная, как старуха, а у нас музыка орет: «Ах, эта свадьба пела и плясала»... Я её увидела из окна и блевать пошла в туалет. Думала, господи, за что мне это? Я ж ничего не сделала. Я ж просто замуж выходила.

Она сглотнула, глядя в пол.

— А потом звонить тебе... что сказать? «Привет, Маринка, как Москва, а я вот забеременела, а Костю твоего так и не нашли, да?» Ты бы трубку бросила. Или я бы с ума сошла.

Проще было молчать. Думать, что ты там, далеко, у тебя другая жизнь, институты эти твои, книжки умные, мужики столичные... А мы тут в дерьме своём варимся потихоньку.

— У меня не было другой жизни, Лен, — глухо сказала Марина. — Все эти двадцать лет не было.

Ленка подняла на неё глаза. В них сквозило такое острое, голое понимание, от которого Марине стало не по себе.

— Знаю, — прошептала подруга. — По лицу твоему вижу. Ты ж не за домом приехала, Марин. Кому ты врешь? Петровичу можешь врать, Вере можешь врать. Мне не надо.

Чайник взвизгнул свистком. Ленка торопливо сняла его с огня, залила кипятком две кружки, те самые, с синими полосками, из сервиза матери, — и пододвинула одну Марине.

— Садись, пей, а вечером ко мне пойдешь. Сергей утку запечет, он с охоты привез, жирная, зараза. Водки выпьем. Поговорим по-человечески. Без вот этого всего... — она неопределенно махнула рукой в сторону окна, где за пеленой дождя угадывались сосны и серый массив моря.

— Лен, — Марина села напротив, обхватив горячую кружку ладонями. — Я нашла дневник Кости.

Кружка в руках Ленки звякнула о блюдце. Слишком громко. Капли чая выплеснулись на клеёнку с ромашками.

— Какой... дневник? — спросила она. Глаза её метнулись к лестнице на второй этаж, потом к окну, и только потом к лицу Марины.

Это длилось меньше секунды, но Марина, наметанным редакторским глазом привыкшая подмечать малейшие фальшивые ноты в текстах и людях, увидела всё: напрягшиеся мышцы шеи, побелевшие костяшки пальцев, испуг, замаскированный под недоумение.

— Серую тетрадь. На подоконнике в нашей комнате. Он писал её перед тем, как уйти. С сентября по октябрь.

— И... что там? — Ленка попыталась улыбнуться, но губы не слушались, расползаясь в кривую, жалобную гримасу. — Сказки его? Карты эти дурацкие? Он же вечно выдумывал... фантазер был, каких свет не видывал...

— Там написано про пожар в вашем сарае, — Марина смотрела прямо в зрачки подруги. — За день до того, как он сгорел. Там написано про мамину сломанную руку. За три дня. Там написано про дядю Мишу.

Ленка судорожно вздохнула и откинулась на спинку стула. Лицо её осунулось, стало серым, под цвет осеннего неба за окном.

— Марина, не надо, — тихо сказала она. — Не лезь туда. Ради бога, не лезь.

— Почему?

— Потому что он был больной! — вдруг сорвалась на крик Ленка и сидевший под столом Боня испуганно тявкнул. — Понимаешь ты, дура городская?! Больной он был! У него крыша ехала с весны того года! Он ночами не спал, ходил кругами по берегу, бормотал что-то! Я его видела! Я с ним говорила! Он мне такое плел, что у меня волосы дыбом вставали! Про озеро какое-то, про то, что все мы по кругу ходим, как проклятые... Я думала, у него шизофрения начинается! Хотела матери твоей сказать, а он... он на колени передо мной встал у причала. Плакал, руки целовал, умолял: «Ленка, молчи, если скажешь — меня в дурдом закроют, а мне нельзя, я должен дойти»...

Она закрыла лицо руками. Плечи её мелко дрожали.

— Я пожалела его, дура. Пожалела! А надо было за шкирку его и к психиатру в Мурманск тащить! Может, жив был бы сейчас! В таблетках, как овощ, но живой!

Марина слушала этот крик и внутри неё росла странная, холодная пустота. Ложь была искусной, замешанной на полуправде, на реальных слезах и реальной боли, но это всё равно была ложь. Потому что Костя в дневнике написал совсем другое.

«Она боится, что я расскажу Марине то, что она попросила меня хранить в тайне».

Это была не жалость. Это был страх.

— Лен, — негромко произнесла Марина, когда рыдания подруги перешли в прерывистые всхлипы. — А что ты попросила его не рассказывать мне?

Ленка замерла. Руки медленно опустились от лица.

В её глазах не было больше раскаяния. Там был чистый, первобытный, загнанный в угол ужас.

— О чём ты? — прошептала она пересохшими губами.

— В записи от пятого октября. Костя пишет: «Ленка врёт. Она боится, что я расскажу Марине то, что она попросила меня хранить в тайне». Что это было, Лен?

Тишина на кухне стала невыносимой, густой, как застывающий гудрон. Казалось, даже дождь за окном перестал шуметь, прислушиваясь к тому, что сейчас произойдёт.

Ленка медленно поднялась со стула. Она больше не плакала. Лицо её застыло, превратившись в непроницаемую маску.

— Ты с ума сошла, Марин, — сказала она глухим, чужим голосом. — Совсем со своим издательством чокнулась. Везде тебе сюжеты мерещатся. Детективы. Тайны.

Она подозвала собаку, пристегнула поводок к ошейнику. Руки её больше не дрожали, они двигались с механической, пугающей точностью.

— В шесть вечера жду, — бросила она, не глядя на Марину, уже стоя в прихожей. — Советская, двенадцать. Жёлтый дом, второй подъезд, квартира шестнадцать. Не придёшь, обижусь на всю оставшуюся жизнь. И дневник этот... сожги его в печке, Марин. Мой тебе совет. Сожги и забудь. Мёртвым мёртвое, а живым ещё как-то жить надо.

Она хлопнула входной дверью, и шаги её быстро затихли на гравийной дорожке.

До шести вечера Марина не находила себе места.

Она пыталась прибраться в доме: подмела пол в гостиной, протёрла пыль с подоконников, нашла в кладовке старое ведро и тряпку, вымыла лестницу на второй этаж. Физический труд обычно успокаивал её, возвращал чувство контроля, но не сегодня. Каждый угол дома, каждая выцветшая фотография на стене: вот они с Костей в первом классе с огромными гладиолусами, вот отец в парадной морской форме на фоне крейсера, вот мама, молодая, смеющаяся, в ситцевом сарафане на городском пляже…Всё это давило, требовало ответов, обвиняло.

В пять она оделась: натянула тёплый свитер, плотные джинсы, непромокаемую куртку и пошла на Советскую улицу.

Североморск в вечерних сумерках казался вымершим. Редкие прохожие, в основном мужчины в рабочей спецодежде судоремонтного завода и женщины с тяжёлыми пакетами, шли быстро, опустив головы, пряча лица от колючего, сырого ветра, который тянул с залива. Фонари на Советской горели через один, заливая разбитый асфальт мутным, ядовито-жёлтым светом.

Жёлтый дом номер двенадцать был типичной сталинкой с облупившейся лепниной под карнизом и высокими окнами. Марина поднялась на второй этаж. Из-за двери шестнадцатой квартиры пахло жареным мясом, чесноком и выпечкой.

Дверь открыл Сергей.

Муж Ленки выглядел внушительно: под два метра ростом, с широченными плечами, в вытянутой тельняшке, из-под которой виднелись густые седые волосы на груди, и с пышными, прокуренными усами, как у полярного моржа. На массивных пальцах левой руки синела старая армейская татуировка: «СФ 1996».

— Марина Викторовна! — гаркнул он так, что зазвенели стеклышки в межкомнатной двери, и сгреб её руку в свою огромную, как совковая лопата, мозолистую ладонь. — Заходи, заходи, не стой на сквозняке! Ленка уже все уши прожужжала: «Маринка то, Маринка сё»... Я уж думал, генеральша какая приедет, а ты вон какая, худенькая, маленькая... Проходи в залу, утка доходит!

Квартира Сорокиных была полной противоположностью мертвому дому Марины. Здесь всё дышало шумной, тесной, избыточной жизнью. В коридоре стояли три пары резиновых сапог, детские коньки, коробки с рыболовными снастями. На стенах висели ковры с оленями, семейные фотографии в золоченых рамках и чучело огромной щучьей головы с оскаленной пастью. Из комнаты доносился звук работающего телевизора, шло какое-то ток-шоу, где все кричали одновременно.

Ленка вышла из кухни в нарядном синем платье с люрексом, с подкрашенными губами и свежей укладкой. Она вела себя так, будто утреннего разговора не было вовсе: суетилась, подавала тарелки, подкладывала Марине лучшие куски утки, подливала в рюмки терпкую, домашнюю брусничную наливку.

— Ты пей, Марин, пей, это Сергей сам ставит, на спирту очищенном, никакой химии! Серёжа, ну что ты сидишь, положи Марине салата! Она в своей Москве одни листья жует, небось, за фигурой следит!

Сергей налил себе полстакана водки, опрокинул в кряжистую глотку, крякнул и шумно захрустел соленым огурцом.

— Хорошая у тебя работа, Марина, — веско произнес он, глядя на неё маленькими, но умными и цепкими серо-стальными глазами. — Книжки читать. Я вот за всю жизнь три книги прочел: устав караульной службы, справочник дизелиста и «Остров сокровищ» в шестом классе. Но уважаю. Без культуры человеку нельзя, человек без культуры — зверь морской.

— Сергей на флоте двадцать лет отпахал, — с гордостью вставила Ленка, подливая Марине наливки. — На дизельных подлодках. В прошлом году только на пенсию вышел, теперь на гражданском причале механиком.

— Работа как работа, — отмахнулся Сергей, но было видно, что похвала ему приятна. Он нахмурился, помолчал, разглядывая пустую рюмку, и вдруг сказал: — А отца твоего, Виктора Петровича, я помню. Хороший был мужик. Строгий, но справедливый. Когда на третьем пирсе пожар был в девяносто пятом, он людей из отсека выводил сам, пока переборка не раскалилась. Если б не он пол-экипажа там бы и легло.

Марина замерла с вилкой в руке. Отец никогда не рассказывал об этом. Для него служба была закрытой темой, пришел, повесил китель в шкаф, надел домашнее трико, сел проверять уроки у детей.

— Он Костю очень любил, — тихо добавил Сергей, не глядя на жену. — Больше жизни любил. Когда пацан пропал, Виктор ко мне в гараж пришел. Сидел на канистре, молчал три часа. Потом говорит: «Серёга, он не утонул. Я знаю, как море топит. Море тело отдает через три дня, если шторм. А Костю не море забрало».

— Серёжа, хватит, — резко перебила Ленка. Голос её дрогнул. — Давай не будем за столом... праздник же. Маринка приехала.

— Да какой праздник, Лена? — тяжело вздохнул подводник. — Двадцать лет прошло, а мы всё как воробьи под веником сидим, боимся пискнуть. Человек правду хочет знать. Имеет право. Родная кровь.

Он повернулся к Марине, положив тяжелые кулаки на клеенку:

— К Петровичу ходила?

— Ходила, — ответила Марина, чувствуя, как внутри всё сжимается в тугой узел.

— И что этот старый хрыч сказал?

— Сказал, что дом нельзя продать без признания Кости умершим. И... предупредил, чтобы я не ходила к маяку ночью.

Сергей помрачнел. Усы его опустились, лицо стало жестким, темным, как просмоленное бревно. Он переглянулся с женой, быстро, тяжело, и Ленка в этот момент опустила глаза в тарелку, судорожно теребя край салфетки.

— Петрович сам к маяку ходит, — негромко сказал Сергей. — Каждую неделю. По субботам, как стемнеет. Я его два раза видел, когда с вечерней рыбалки возвращался. Идет по тропе, в штормовке старой, в руках сумка тяжелая. Озирается, как вор.

— Зачем? — спросила Марина.

— А пес его знает, — буркнул Сергей. — Сдвинулся старик после того, как дело закрыл. Он ведь, Марина, не всегда с бумажками сидел. Он следователем был в прокуратуре военной. Жесткий был мужик, хваткий. А как твоего брата искать закончили, через месяц рапорт положил на стол и ушел в нотариусы. Все удивлялись: майор юстиции, перспективы в Мурманске, а он в дыре остался печати на доверенности шлепать.

— Серёжа, перестань! — Ленка вскочила из-за стола так резко, что задела локтем свой бокал. Тонкое стекло с жалобным звоном ударилось о край тарелки и разлетелось на мелкие осколки. Красная наливка брызнула на белую скатерть, расползаясь темным, похожим на кровь пятном. — Перестань, ради Христа! Зачем ты всё это ворошишь?! Что это изменит?! Костю вернет?! Отца её вернет?!

Она стояла над столом, тяжело дыша, бледная, с дрожащими губами.

Боня под столом заскулил и забился под ноги Сергея.

— Прости, Марин, — прошептала Ленка, глядя на разбитый бокал. — Я... я уберу сейчас. Руки кривые.

— Я помогу, — Марина поднялась, но Ленка замахала руками:

— Не надо! Не трогай, порежешься! Серёж, принеси совок из прихожей.

Остаток ужина прошел в тяжелом, вымученном молчании. Сергей больше не пил, сидел насупившись и смотрел в окно на темнеющую улицу. Телевизор бубнил про погоду в Москве. Ленка суетилась, подавала чай с покупным тортом, но разговор не клеился, распадаясь на короткие, бессмысленные фразы о погоде, ценах и общих знакомых, половина из которых давно спилась или уехала.

В девять вечера Марина встала из-за стола:

— Мне пора. Завтра дел много.

Сергей вышел в прихожую, молча подал ей куртку, помог надеть. Его тяжелая рука на мгновение задержалась на её плече:

— Если что, Марина... если шуметь кто будет у дома или еще чего, звони в любое время. У меня «Сайга» в сейфе зарегистрированная. И телефон мой запиши.

— Спасибо, Сергей.

Ленка пошла провожать её до калитки.

На улице похолодало. Ветер стих, и над городом повис плотный, студёный туман, пахнущий снегом и морем. Фонари на Советской утонули в белом мареве, превратившись в размытые, слепые пятна.

Они дошли до деревянной калитки. Ленка запахнула пуховик на груди, поежилась.

— Марин... — позвала она тихо, когда Марина уже взялась за щеколду.

Марина обернулась.

В свете туманного фонаря лицо подруги казалось призрачным, белым, с темными провалами глаз.

— Не злись на меня, — прошептала Ленка и в голосе её снова послышались слезы. — Я правда... я трусиха, Марин. Всегда ей была. Ты смелая, ты в Москву уехала, ты выбилась.

А я тут приросла, как лишайник к камню. Я боюсь, понимаешь? Боюсь потерять то, что есть. Сергея, дом, эту жизнь дурацкую... Если ты начнешь копать - оно всё рухнет. Этот город... он держится только потому, что все молчат.

Она подошла ближе, схватила Марину за руку сквозь ткань перчатки:

— Если в дневнике найдешь что-то... про меня... не верь всему. Костя в конце уже не понимал, где правда, а где его видения. Он путал нас всех. Но если найдешь... расскажи мне. Слышишь? Не оставляй меня с этим одну. Я двадцать лет каждую ночь этот туман вижу. Каждую чертову ночь.

Она отпустила руку, развернулась и почти побежала к подъезду, сгорбившись, пряча голову в плечи.

Дома Марина не стала включать свет.

Она разделась в темноте, прошла в гостиную и зажгла маленькую настольную лампу, которую нашла в шкафу на втором этаже. Желтый круг света выхватил из мрака клеенку стола, блокнот и серую тетрадь Кости.

Марина села, положила руки на обложку.

Слова Сергея не выходили из головы: «Петрович сам к маяку ходит. Каждую субботу. В руках сумка тяжелая». Бывший военный следователь. Человек, который закрыл дело без улик. Человек, который сегодня утром предупреждал её не соваться к маяку.

Она открыла дневник. Перелистала страницы к началу октября.

Вот она. Запись от пятого числа. Почерк Кости здесь был неровным, строчки съезжали вниз, чернила местами расплылись от упавших капель дождя или слез.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.